

## КСЕНИЯ

*Ночь с субботы на воскресенье*

Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным образом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время концерта.

Месяц тому назад Z отпечатаала и разослала приглашения. В программе Шуман, трёхчастная фантазия C-Dur, op. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждому музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался сам Рихард Штраус. *Se n'est pas rien*.<sup>1</sup>

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади круто поднимается лес – собственно, это уже окраина посёлка. Z приходится мне дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провёл семь лет в лагере военнопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастырскую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который баронесса сама тащила вверх по тропе паломников; образцовая католическая семья, что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне был фрак, крахмальная манишка, чёрная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс крутился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в своём чёрном платье с кружевами и воланами, бледно-лиловая причёска, нитка старого жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет.

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жидкие аплодисменты и чувствую, что забыл всё от первой до последней ноты. Знаю, что великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот трепет – не просто боязнь потерять благосклонность публики. Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое, что поднимается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ремесленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого нисколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переворачивать ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы ещё раз прорепетировали всю вещь, я знал её назубок, но сейчас мне придётся по крайней мере первые пятнадцать-двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память.

С тяжёлым чувством я останавливаюсь перед инструментом, руки по швам, старый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движением. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ёрзаю, подкручиваю

<sup>1</sup> Это кое-что значит (фр.).

винт, зачем-то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на пюпитр, чувствую, как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благословенные времена, когда, как в Сан-Суси, король стоял с флейтой, а гости слушали и не слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпускали mots, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, — с самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пианисты промахивают клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, как мне кажется, более или менее сносно.

### *Продолжение. 3 часа ночи*

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном глазу. А всё-таки — почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознательным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то заставило меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после Kopfsatz.<sup>2</sup> Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

Когда всё кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова выходил, сыграл ещё два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, затем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвездия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, а тогда было лето в разгаре, июль... Поздно вечером в землянке полкового командира мы слушали С-Dur-ную фантазию. Кто играл, теперь уже невозможно вспомнить...

На столе коньяк, радиоприёмник, в банке из-под галет алая Лизхен с мелкими глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, которая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпиграф, — сказал полковник. — Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». — «Для той, кто ему внимает», — подсказал я. Кстати, он был убит на следующий день при объезде позиций, прямое попадание с бреющего полёта.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Всё как в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняются (поцелуи отменены), девушки делают книксен. Мимоходом Франциска коснулась моей руки, это значило, что она просит меня задержаться.

### *11 час. вечера, воскресенье*

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает сверить-ся. Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг при-

<sup>2</sup> Первой части.

нялись вспоминать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, однако, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смее думать, что эта стопка тетрадей в коленкоровых переплётках не лишена исторической ценности. Я храню её в столе под ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, что для моих записей найдётся издатель – только уж, ради Бога, после моей смерти.

Итак, 1942 год: двадцать четвёртого июля (здесь стоит дата) мы приблизились к излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-запад к Азовскому морю. Наша цель – мост у Калача. Это название можно перевести как пшеничный хлеб. Сколько полей пшеницы, ржи, ещё каких-то злаков, подожжённых отступающим противником, мы оставили за собой. Местность становится всё более плоской, время от времени её пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слышу из ржи, совсем близко, бой перепела – высокий металлический звук, слегка приглушённый, как будто карлик под землёй постукивает молоточком. Коршун в небе высматривает мышей-полёвок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы можем её настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает – снабжение отстаёт от стремительно наступающих войск, пожалуй, это не совсем хорошо. День за днём монотонный ляг гусениц, гранадёры, стоя по пояс в открытых люках, без шлемов, подставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пехота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горланя песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледно-лиловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих азиатских степях... Но осталось уже немного. Ещё пятьдесят, ещё тридцать, двадцать километров, – мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже всё было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, полька, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврике в прихожей. Франциска, успевшая сбросить своё прекрасное платье и облачиться в длинный, до пола капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал её в комнатке рядом со спальней.

После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению ещё одной проблемы. Понимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные традиции, ветер истории, который веет на нас со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердея, – увы, – скомпрометированные понятия. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, который спит в пещере со своей дружиной, спит и видит сны – о чём? О том, что он когда-нибудь проснётся и протрёт глаза?..

Er hat hinabgenommen  
Des Reiches Herrlichkeit  
Und wird einst wiederkommen  
Mit ihr, zu seiner Zeit.<sup>3</sup>

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn<sup>4</sup> с крылышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году жизни я имею основания

<sup>3</sup> Величие своего царства унёс он туда с собой, но дайте срок он вернётся, и с ним вернётся блеск его державы. (Из баллады Фр. Рюккерта).

<sup>4</sup> Сосуд для питья в форме рога.

полагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займёт место в альбоме угасших фамилий. Короче говоря, я последний в моём роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить её детей. Старший, адвокат, – ему под шестьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, – присоединил бы к своему баронскому имени моё, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее, такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется мне абсурдным. Почему? Ответить непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпочитаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожала бы плечами, случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем всё известно друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе. С Франциской мы учились в Салеме, мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше). Мы даже обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содержания: «Мы перестаём встречаться, перестаём звонить друг другу, это необходимо, чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домашний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокеншпиль» на углу Розенталь и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые вопросы», – а какие, собственно, вопросы?

### *С воскресенья на понедельник*

«Устала, сил нет, – сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к нашему разговору вечером после концерта). – Ты прекрасно играл... Особенно этот ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

Я спросил: что она хочет этим сказать?

«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».

«Знаешь, – проговорил я, – мне вспомнилось...»

«Ах, лучше не надо».

«Но ты же не знаешь, о чём я».

«Не надо никаких воспоминаний».

«Представь себе..., – сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, убитого на другой день. – Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале “Геркулес”?»

«Когда?»

«В сорок втором, в июле».

«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».

«Нет, – сказал я, – это было в июле, память у меня, слава Богу, всё ещё...»

Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведёт моё жалкое хозяйство; вот на ком следовало бы жениться.

*Вечером в понедельник*

Распорядок дня безнадежно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. Днём меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощущаю прилив какой-то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за стола; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц<sup>5</sup> считал спанье привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырёх часов в сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле разучусь спать. Мы рвёмся вперёд. Мы движемся мимо чёрных пятен выгоревших злаков, налетает порывами горячий ветер, клубы праха заволакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у нас зловещее красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь – как огромные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, угрюмое потрескивание – степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с противником. Автомобиль наблюдательной службы, в котором я стою рядом с лейтенантом, шарахается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон, в русской армии отменены погоны. Шофёр даёт газ, мы несёмся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна будет обойти оборонительные позиции противника с флангов. XIV корпус (куда мне предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это удастся, мы подойдём с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет взорван. Дальняя цель после успешной переправы – излучина Волги, которая вместе с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, который нам предстоит увидеть после Харькова, – Сталинград...

*Ночь с понедельника на вторник, 2 часа*

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил ли я внимание на Лубковиц, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».

«Ты скажешь!»

«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».

«Да, время бежит».

Мы умолкли, я обвёл глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старинной работы – давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платьице с оборками сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают до пола – это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, овальных, прямоугольных рамках. Щёголь в пышных усах, в канотье – отец Франциски. Гувернантка: круглая причёска, похожая на

<sup>5</sup> Фридрих II Прусский.

птичье гнездо, блузка с высоким кружевным воротничком до подбородка, отчего шея походит на горлышко графина, с обеих сторон, уткнувшись в широкую тёмную юбку мадемуазель, – Франци и маленький братик. Смутное лицо в постели – это их мать: умерла от родильной горячки через десять дней после рождения сына. Франци в форме салеградской воспитанницы. Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, в самом начале войны пропал без вести. Офицер с Железным крестом – фрейгер<sup>6</sup> фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

Я спросил – почему-то он мне вспомнился – кто этот господин, сидевший в последнем ряду.

«М-м?» – отозвалась она. О чём-то задумалась. Мне пришлось повторить свой вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. Почему он меня интересует?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, – скорее всего обратный эффект памяти: просто я испытал мимолётное любопытство, заметив среди знакомых лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нём, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я снял трубку, раздражённый тем, что звонят так поздно.

Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.

«Да».

«Меня зовут..., – я не мог разобрать его имени. – Извините...»

«Что Вам угодно?»

«Я здесь проездом», – сказал он.

«Na und?»<sup>7</sup>

«Я был на Вашем вечере».

Голос с американским акцентом – Франциска была права. Но почему я решил, что это тот самый человек?

Человек молчал.

«Послушайте...», – сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу трубку:

«Я хотел бы попросить Вас об одном одолжении».

Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнёс её, спотыкаясь. Или уж очень робел?

«Я Вас слушаю», – сказал я по-английски.

Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились встретиться в кафе «Глокеншпиль».

### *Поздно вечером, вторник*

С утра мягкая, расслабляющая погода, фён; воздух так прозрачен, что с крыльца моего дома я могу различить далёкую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собственно, у меня было много других дел; но, повинувшись этому зову, я сел за руль и отправился туда, где начинаются отроги Альп. Пронёсся по автострадам мимо Оттобрунна, мимо Вейярна, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное озеро сверкает за деревьями, в промежутках между виллами, за террасами кафе. К полудню, по извилистому пути между

<sup>6</sup> Барон.

<sup>7</sup> Ну и что.

перелесками, спящими вечным сном хуторами, деревнями с неременной церковкой почти кукольного вида, не доезжая пятнадцати километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится наше бывшее владение, проданное отцом ещё в моём детстве. Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной общине, ныне в нём разместилось благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к небольшому, окружённому кустарником, отгороженному невысокой кирпичной стеной участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо передо мной на почётном месте покрытая плесенью, со стёршейся позолотой плита с моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некрополь считается закрытым.

Это мой дед, обер-гофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант и поэт, замечательная личность. О нём, между прочим, существует такой рассказ: однажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, автором сатирических куплетов о некой даме по имени Лизбет, наложнице ландграфа. При этом он называл её Беттлиз.<sup>8</sup> Любимец муз просидел взаперти чуть ли не двадцать лет, до тех пор, пока ландграф не отправился к праотцам, и ему носили еду из дворцовой кухни.

Так вот, мой дед как-то раз встретился с прапраправнуком ландграфа Филиппа. «Я, – сказал он, – хочу сделать то, что вовремя не было сделано». – «Und das wäre?»<sup>9</sup> – «Вызвать тебя на дуэль!» – «Я готов к услугам», – ответил тот. Оба расхохотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского погребка.

Гисторические анекдоты, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами даже, сами того не замечая, разговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом старческого слабоумия. Что ещё сказать о моём дедушке? Воинственность не принадлежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом отношении примером, в отличие от своего прусского тезки.<sup>10</sup> Король не любил военную службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

Два одинаковых, невысоких каменных креста – два моих двоюродных деда, погибших в Первую мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, заросших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница – моя бабка, померанская княжна: взбалмошная особа, сумевшая восстановить против себя весь клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я пообедал в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно

<sup>8</sup> Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».

<sup>9</sup> А именно?

<sup>10</sup> То есть кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна.



рисовавшимся в потёмках письменным столом – с выдвинутым нижним ящиком – были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. Навстречу плетётся мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и широкую синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, – чёрт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!

### *Около полуночи*

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записи полустолетней давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже были позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса – три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чином в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за всё, что он сделал для нашего успеха».

Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Донцу – две недели спустя мы уже юго-западной Купянска, в июле – Острогжск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi».<sup>11</sup> И всё-таки... всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих временах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло то, о чём говорит Пруст, только роль *petites madeleines*<sup>12</sup> сыграл этот злополучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие подробности нашего наступления... То, что определённо представлялось закрытой главой жизни, – подобно тому, как сдают в архив судебное дело, – приходится поднимать сызнова, как говорят юристы, «в виду вновь открывшихся обстоятельств».

<sup>11</sup> Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; фр.)

<sup>12</sup> Бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».



## Среда

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по старинке называть её Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци – моя соседка. Её супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци – типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели – отлично помню – в полуосвещённой гостиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было полночь. Большой спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.

«Ты должен понять, – сказала она. – Мы оба должны понять... Он перенёс столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», – возразил я.

«Не понимаю».

«Не за этих же ублюдков».

«Я говорю об отечестве... Хорошо, – сказала она, – не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».

«Франци, – сказал я. – Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.

«Alors, c'est arrêté?» – сказал я, улыбаясь.

«C'est arrêté.<sup>13</sup> Посидим ещё немножко».

Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канаве и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.

Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.

Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, – проговорила она, садясь рядом со мной. – Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

<sup>13</sup> Так решено? Решено (фр.).

«Куда?» – спросил я.

«Куда-нибудь далеко. – Она встала. – Но имей в виду...»

С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отказались друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле волос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В этой позе – я чуть не сказал, в позировании – было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила за мной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, что обстоятельства оказались сильнее её добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что всё между нами осталось по-старому.

### *Третий час ночи с четверга на пятницу*

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было бороться с мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn.<sup>14</sup> Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помню взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свидание; как вдруг сзади раздался его голос с англо-саксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.

Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», – по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсиль-

<sup>14</sup> Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.

вании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развёл руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку и спросил:

«Вы любите музыку?»

«Пожалуй, — сказал он. — А что Вы играли?»

Вздыхнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнялось!

Он пробормотал:

«Германия — очень музыкальная страна».

«Чего нельзя сказать об Америке?» — съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»

«Нет», — сказал я.

«Я тоже не курю».

«Вы это и хотели спросить?»

Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:

«Вы, вероятно, были участником войны?»

«Так точно».

Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моём детстве это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.

### *Пятница, после полуночи*

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду — другое.

Ужасный случай, — здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или — что кажется мне сейчас правдоподобней — оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов — партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнёмёта крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на

голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением армейских СС некто Бенке, страшный человек, по которому – говорю это с полным основанием – плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике – краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, – мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено всё население округи, сожжены деревни, заколоты штыками грудные дети... А ведь совсем ещё недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика – не его дело. Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, которые всё больше распространялись – и в конце концов подтвердились! – о том, что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превратилось моё отечество?

Июль сорок второго года. Острогжск... Теперь я отчётливо помню, когда и как всё это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, коньяк отрезвляет, – но лишь первые два глотка. Четвёртый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины прошлого, как некогда пробивалась вперёд, прокладывая свой смертный путь немецкая армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу всё перед собой.

### *Ночь, продолжение*

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми ресницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. Держится спокойно, угрюмо.

Майор, который ведёт допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сигареты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затягивается раз-другой и бросает сигарету.

«Ну что, – говорит майор, – так и будем играть в молчанку?»

Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.

«А?»

Пленный пробурчал что-то.

«Что он сказал?»

«Ругается», – сказал переводчик.

«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчёт...»

Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на вопросы или мотает головой. Собственно, то, о чём спрашивает Оланд (так зовут майора), ему и так известно, надо лишь удостовериться.

Русский смотрит на него в упор и внезапно раздражается более или менее длинной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами: «Ругается... последними словами».

«Угу. Хорош».

Оланд щёлкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполовину опорожнённую. Наливает полстакана: пей.

Парень берёт стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, на мой взгляд, весьма низкого качества. Пленный делает большой глоток. Вытирает рот тыльной, тёмной от веснушек стороной ладони, отдувается и выплёскивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повёл. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.

«Советую, – говорит он, – вести себя лучше. В твоих же интересах».

Допрос продолжается.

Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блёкло-сером глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит всё быстрее, по-видимому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик – балтийский немец, худой, измождённый человек.

Парень умолк и смотрит в пол.

«Нет смысла переводить...», – говорит переводчик.

Майор догадывается, мрачнеет, – «ну-ка, повтори», – говорит он. «Повтори, сволочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ругань.

«Переводите. Переводите, чёрт побери!»

Переводчик старательно переводит.

Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.

«Дальше!»

Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сраная сволочь, и вся ваша нация, ваша вшивая Германия, вас надо уничтожать, как вшей, вот увидите, мы вам ещё покажем, вы ещё не знаете, что вас ждёт, мы вас за яйца повесим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего.

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный всё ещё что-то бормочет. Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на меня, я всё-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, – ждёт моего кивка. Я тоже вне себя. Ну раз пошёл такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. Мальчика выводят и тут же, за сараем, расстреливают.

### *Седьмой час, перед рассветом*

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведётся ответный огонь», – а это был ни много ни мало, как стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», – ребёнку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разумеется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на ис-

торию. Скажут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим). С другой стороны, на всякий ответ не может не повлиять знание о том, чем всё это кончилось. Миллионы убитых, причём не только на фронте. Нация потеряла четверть всех мужчин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные города в развалинах. И, что ещё ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не говорю о потере имперских территорий – уничтожить на карте рейха, стереть с европейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы всё ещё в исторический разум?

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стратегом всех времён. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше господство в Европе. Сокрушить заклятого врага – большевизм. Для разделения мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, стало ясно, что мы и только мы распоряжаемся историей. Оставалось только вторгнуться в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет ещё раньше, чем мы завоюем страну. После чего мы расправимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, что я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я знаю ответ...

Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-то вещички, перекладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова принялся перелистывать свои тетради.

Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжёлый смрад обгорелых печных труб – всё, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками орудийного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная башня, пушка 85 миллиметров, два пулемёта. Кажется, в то время ещё не появились наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожать эти танки. Чувство общей судьбы – у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником поднимается столб чёрного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с головой – ночные бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успеваю перелистывать страницы – азарт, похожий на азарт игрока, азарт наступления! Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижнеалексеевской к Городищу. 13 октября, осень, но всё ещё тепло... Войска группы А – у подножья Кавказа, прорвались к нефтяным промыслам, взят Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высочайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди – необъятные запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта. Группа Б тем временем с боями

овладела Калачом и Котельниковом. Никаких сомнений – к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жестокость большевистского командования превзошла всё возможное: позади линии фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попытается отступить. Перебежчики подтвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, – Волга. Импозантный силуэт города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на севере очертания огромного собора. С трёх сторон 6-я армия окружает огромный, растянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга насаждает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и тогда. Октябрь, 27-е: в парной бане. Русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов; мне необходимо преодолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что огромная река поставит противника в безвыходное положение, затруднив отступление и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам окружить русских.

В чём дело? Нам казалось – ещё двести, ещё сто метров, и мы прорвёмся к воде, но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были наступательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой нашей военной доктрины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить захваченную территорию, и – дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, которые лучше нас ориентировались в городе и в конце концов дрались на своей земле, защищали своё отечество. И всё же 90 процентов города к середине ноября было в наших руках.

Безумец в волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, идущими навстречу из России. Последняя запись в моём дневнике – от 7 ноября, я болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь белая от снега, мороз 13 градусов...

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я уселся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крышку, прошёлся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл томительно-волшебную, поистине утоляющую горечь Арабеску Шумана. Пора ложиться...

*17 час., пятница*

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похороны Лубковиц. Забыл записать: ещё третьего дня я нашёл в почтовом ящике извещение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моём концерте. Она была ещё достаточно бодрa. Ей было под 90. Сухонькая старушонка; троюродная кузина. Помнит ли ещё кто-нибудь, что её предку,



князю Францу Йозефу фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далёкой возлюбленной»?

Ach, den Blick kannst du nicht sehen  
Der zu dir so glühend eilt,  
Und die Seufzer, sie verwehen  
In dem Raume, der uns teilt.<sup>15</sup>

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тайно, зато к концу первой части звучит вполне отчётливо; это именно цитата, а не случайное совпадение.

«Знаете ли Вы, – сказал я американцу, когда всё было кончено, толпа провожавших, все в чёрном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, за которыми ждали автомобили, – знаете ли Вы, что она когда-то служила в штабе Штюльпнагеля?»

Он спросил, а кто это такой.

Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!

«Генерал инфантерии, – сказал я. – Командующий оккупационными силами во Франции. Княжна была его секретаршей».

«Вот как».

«Она была в курсе дела».

«Что Вы имеете в виду?»

Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой человек что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и СД, всё чёрное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, генерал был вызван в Берлин, вместо самолёта отправился в машине, с ним вместе его Bursche,<sup>16</sup> секретарша уговорила шефа взять и её с собой.

«Эта старушка?» – спросил американец.

«Да. Она была тогда молодой женщиной».

«У неё были дети?»

«Нет. У неё никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего генерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

«А она?»

«У неё были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?»

Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Молодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интересовали все эти дела.

23 часа.

Нет сна. Я почти не спал накануне, и сейчас чувствую, что предстоит снова бессонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящён, если бы кто-нибудь из друзей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? Увы! едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня

<sup>15</sup> Тебя не достигнет мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, мой вздох исчезнет в пространстве, разделяющем нас.

<sup>16</sup> Денщик.

трусом. Но одно дело стоять под огнём врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое – подвалы гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и застенки в Плецензее, где и сейчас ещё висят крюки на потолке... Но почему я говорю об этом так, словно заговор был заведомо обречён на неудачу? Ведь только случайность спасла диктатора. Насколько мне известно, заговорщики были готовы ко всему. Во всяком случае, многие из них, насколько я знаю, – может быть, и сам полковник Штауфенберг, – отнюдь не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как другие, немногие и отважные, взошли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что ещё можно было спасти, – мы, выходит, лишились чести? Понимал ли я, если не в сорок третьем, то хотя бы в сорок четвёртом году, что единственный выход – убрать тирана? Разумеется, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось бы что-нибудь? О, да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел страны? Сомневаюсь. И всё-таки! Я думаю об одном и том же. В последний раз задачу спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для неё, для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, графа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии.

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.

Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никогда не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетантом. Я дилетант во всём.

### *Второй час ночи с пятницы на субботу.*

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повёл его в скромный на вид, но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны были бы перейти на «ты», но как-то не получалось – стеснялись, что ли.

Что стало с ней? Как это всё случилось? Меня интересовало всё, хотя, по понятным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактичным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, всё или почти всё, что он мог рассказать, ему известно со слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезён советской политической полицией, так называемыми «органами», сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразумительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, – значит, всё-таки наводил справки? Да, но «как-то всё не было времени...», «был занят...», «долго болел», чем болел – неизвестно; мне было ясно, что он сомневался, стоит ли ему встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы перескакивали с одного на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует всё пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человек, напротив, ел с аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру

щедрые чаевые, мы вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольдштрассе и в конце концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; зелень всё ещё свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка прокатит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В мае 43-го. Дети, рождённые украинкой, считались расово-полноценными и даже могли удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще всё смешалось, кто украинец, кто русский, не разберёшь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?»

«Воронежская. Но почти на границе».

Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.

«Не особенно».

Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?

«Об этом мне трудно судить. Вероятно».

Говорит ли он сам по-русски?

«Немного».

Я прошу его продолжать.

«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».

«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»

«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».

«Когда, – спросил я, – войска оставили ваш город?»

«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу. А когда немцы ушли из города – откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».

«Да, конечно», – пробормотал я.

«Если это так важно».

«Важно, – сказал я. – Значит, она уехала добровольно?»

«Не совсем, но другого выхода не было».

«А её родители?»

«Они остались».

«Вы.., то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»

«Пожалуйста», – он пожал плечами.

«Ты туда ездил?»

«Да. Гораздо позже, конечно. Уже взрослым».

«И... застал кого-нибудь?»

«Бабушка Анастасия была ещё жива. На пенсии».

Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину.

*Суббота, 18 час.*

Мне пришлось остановиться – не было сил записать до конца наш вчерашний разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит изморось, волглый ветерок повеваает; зябко, неуютно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-то ветошь. По моей просьбе г-жа Виттих затопила камин, которым я пользуюсь раз в сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе был набор, уже не первый, желающих уехать на работу в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаёшь светлое

будущее», что-то в этом роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребёнком было нетрудно уклониться. Очень может быть, что её вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной армии ухудшилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфо-разработки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остаться. Меня же – он это сразу почувствовал – интересовала не столько его собственная судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, чтобы он был слишком словоохотлив. Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление было такое, что сомнения, стоит ли нам встретиться, надо ли объясниться, – не оставили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Никаких сомнений тут быть не может: он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответствует истине всё, что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился – уж это-то, по крайней мере, известно наверняка – в марте 1943 года. Не позднее, чем в августе, германская армия покинула этот район (Харьков был окончательно сдан 28-го). Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полгода. Что было дальше? Говоря о матери, он употребил слово «уставка». Оказывается, так называли себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на молочную ферму.

«Я узнал, – сказал он, – где это было: в Люгде».

Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфалии, весьма древний, с красивой церковью св. Килиана.

«Ты там был?»

«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».

«Ты сказал: вам повезло».

«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто не знал. Даже якобы не знали, что там работали эти самые уставки».

«Откуда же... э?»

«От кого я узнал? В приюте».

«Тебя отправили в приют?»

Он пожал плечами. «А куда же было меня девать».

После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, мы всё ещё сидели в Английском саду.

«Ты не договорил», – сказал я упавшим голосом.

Молчание.

Неожиданно для себя я сам заговорил.

«Вэл, – сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-видимому, изрядно искажённую). – Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не можешь справиться с прошлым. Ты искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но и я не могу справиться с ней. Единственный выход – круто изменить жизнь. Я вот что хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Моё имя известно с XII века. У меня нет наследников. Я последний в своём роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся.

«Зачем?»

«Зачем... Странный вопрос».

А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце – согласился бы я, окажись я на его месте?

«Вы правильно выразились, – сказал он. – Усыновляют чужих детей...»

«Но ты мне не чужой!»

«Я сын моей матери. Сын женщины, которую вы бросили на произвол судьбы». Я пролепетал:

«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военно-служащие имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы за ней... Мы бы поженились. Я увёз бы её в Германию, к моей матери. И тебя, конечно... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он ответил, что в конце концов установил, кто была хозяйка фермы. Её звали Ростерт. Гертруд Ростерт.

«У неё был муж-инвалид, он был освобождён от фронта. Он стал приставать к моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну и...» – он пожал плечами.

«Что? что?» – спрашивал я.

В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Ещё минута, я бы его задушил. Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать, сидит передо мной, толстый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатской своей физиономии.

Мой сын взглянул на моё искажённое злобой лицо и спросил:

«Кто, по-вашему, во всём этом виноват?»

### *Час ночи. Два часа ночи.*

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в Сталинграде, у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до крайности – то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб танковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила телеграмма из ОКН.<sup>17</sup> Я был вывезен в рейх на самолёте. Желтуха спасла меня. Вряд ли бы я уцелел, если бы оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от трёхсот тысяч осталось в живых 90 тысяч. Почти все они погибли в плену.

### *Воскресный вечер*

Затёртая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу замёрзшего времени, память пробивает себе дорогу.

Я хочу припомнить всё по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи – как много в них, однако, пищи для воспоминаний. Они помогают восстановить ориентиры... Часть городка со стороны наступающих войск была

<sup>17</sup> Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).

разрушена, деревянный мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб.

Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; под вечер, проехав ещё метров двести по Школьной улице (по-видимому, она была срочно переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер постучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнатку. Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, белое покрывало, большая подушка в пёстрой наволочке (я заметил, что здесь любят толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь ждали немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: меня усаживают в большой комнате за длинным деревянным столом, с низкого потолка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что все три окошка заставлены цветочными горшками. На стене семейные фотографии, расписные часы с маятником, с двумя гириями. В углу, к моему удивлению, я замечаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка вносит на огромной чёрной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Ещё одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий пухлый каравай.

Чай пьём не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ординарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учительницы, и время от времени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в Первую мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

### *Ночь, продолжение*

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, с видеокамерой, какая глупость, что я не сфотографировал её в тот первый и, может быть, – хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, – всё решивший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас своими сияющими глазами. Я сидел в расстёгнутом кителе в углу на лавке, огибающей стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почётное место. Солнце било сквозь цветы из трёх окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

### *3 часа*

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией, в первую зиму русского

похода, с тем самым, злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде вместе с остатками своей армии на другой день после того, как вождь пожаловал ему по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что год закончится катастрофой? Мы оба смеёмся, шуримся под ярким солнцем, я без фуражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Ах, мне поистине повезло, после зимней кампании 41 года я почти уже не участвовал в боях. Старые связи, моё происхождение, громкое имя и титул способствовали моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна эта война, – ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих людей в своём окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она выглядит слабой и кажется лёгкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, – когда я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то высшей мудрости мысль опять приходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, – между тем как разум подсказывает достойный ответ. На всё остальное наплевать. Да, нужно было, чтобы в недрах генштаба был сочинён и детально разработан стратегический план, нужно было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше Великой армии Наполеона, – чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фридрих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере, чтобы двинуться с войском на Восток... Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте, чтобы мы шли и шли всё дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном городишке на Осколе и обер-лейтенант W. озаботился приискать для меня квартиру в домике школьной учительницы. Всё это нужно было – для чего? Для того, чтобы отворилась дверь и вошла Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

### *Перед рассветом*

Судьба нас баловала – наступило затишье. Бумажные дела, которыми я занимался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето остановилось, земля замедлила свой бег, день за днём солнце стояло высоко в небе без единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти две недели. Оно никогда уже не повторилось... Всё было удивительно, непостижимо, и удивительней всего было то, что как-то само собой всё стало казаться естественным, да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность – всё отошло, всё это попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой ординарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из разговоров с ним я понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовался поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.



Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в России в школах преподаётся немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и неизвестно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались только женщины, не работали. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее, первое впечатление оказалось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопросы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попросту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу – разумеется, с ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что она попросту скрывала свои знания. По-видимому, эта женщина не разделяла симпатий своего отца к немцам, скорее всего была напичкана марксистской идеологией. (Хотя откуда тогда эта иконка в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый оберлейтенант W., который немного знал русский, – но теперь разговор шёл уже по-немецки, – в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учительница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было нам до всего этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят вдоль берега, она впереди, мелко ступая точёными босыми ногами, я следом, и песок скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не было переводчика. Мы говорили на том вечном языке, для которого не нужны падежи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научилась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому идёт; и она знала. Тем более, что не сегодня – завтра мне предстояло покинуть городок. Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится овладеть женщиной. Робость и благоговение – иначе не могу это назвать – сковали мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если, наконец, это наступит. Я чувствовал, что она ждёт этой минуты. Она была безоружна. Не зря говорят, что девственницу охраняет ангел. Я должен буду целиком положиться на свою память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был тёплый вечер. Солнце садилось на западе в бледно-лиловом мареве, которое, возможно, было далёкой пеленой туч. На западе, откуда пришла оккупационная армия. Вот говорят о дружбе народов. Но ведь война – это тоже в своём роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но её предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во всю предыдущую неделю. И вместе с тем всё изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был тёплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной ко мне, маленькая, в лёгком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно прошла в зад-вперёд, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она повторила свои слова, знаками показала, чтобы

я отошёл в сторону или отвернулся. Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я уже знал, что она хочет искупаться. С определённой целью, с намерением, которое было вполне понятно ей самой и которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и галифе, стянул с себя офицерское бельё. Она шла, подняв руки, в воду, я успел увидеть её узкую талию и начало ягодич. Приблизившись, я обнял её сзади.

«Ксюша...», — сказал я.

«Не Ксюша, а Ксюша. Ксюша».

«Ксюша».

Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на глаза шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристёгиваюсь. Загораются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Ещё темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь за лесами, далеко от наших мест, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное солнце. Человек, который всё ещё жив, всё ещё не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперёд струи света, привычно шевеля рулём, это можно назвать прогулкой или путешествием, на самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насиженное гнездо, покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории — этого дьявола, о котором кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на просёлочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, стволы сосен, лес всё гуще, слух, как ватой, заглушён тишиной, тяжёлый дорожный автомобиль трясётся по колеям, мотор глохнет. Загорается свет в кабине, человек разворачивает на руле дорожную карту.

Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта дорога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Чёрные, как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полусгнившим половиком удаётся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Присев на колено, он растапливает печурку.

Он ждёт. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя — не более, чем дурной сон. Нагромождение противоречий. Иначе и быть не могло, ведь на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не было фрау Растер и её мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения удавилась в ванной комнате, — весь этот бред — есть именно бред и ничего больше, призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждёт, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие ступеньки крыльца. Её шаги.